

Практическое прошлое, историческая истина и суд истории

Беседа Игоря Кобылина с Андреем Олейниковым,
Михаилом Велижевым и Ильей Будрайтским



Игорь Игоревич Кобылин
(р. 1973) – редактор
журнала «Неприкосно-
венный запас».

Игорь Кобылин: Дорогие коллеги, прежде всего позвольте поблагодарить вас за то, что согласились принять участие в этом разговоре. Я думаю, что сегодня тему «практического прошлого» сложно переоценить и в теоретическом, и в практическом плане. Тем более, что у нас есть и формальный повод: в этом номере «НЗ» в качестве препринта мы публикуем главу «Правда и обстоятельства» из книги Хейдена Уайта, которая увидела свет в 2014 году и которая так и называется – «The Practical Past» – «Практическое прошлое». Целиком книга скоро выйдет в издательстве «Новое литературное обозрение».

А совсем недавно НЛЮ выпустило еще одну знаменитую книгу, представляющую собой своего рода «практическое вмешательство» историка в судебное разбирательство. Я имею в виду работу «Судья и историк» Карло Гинзбурга, которая теперь есть и по-русски в прекрасном переводе Михаила Велижева¹. Эта книга, напомню, посвящена процессу над Адриано Соффри, бывшим лидером леворадикального формирования «Lotta Continua», которого – спустя почти двадцать лет после убийства комиссара полиции Луиджи Калабрезе – обвинили в подстрекательстве к этому преступлению. Гинзбург и Соффри дружили еще со студенческой юности, и «Судья и историк» – это убедительная попытка Гинзбурга, использовавшего арсенал своих профессиональных навыков историка-исследователя, показать абсолютную необоснованность обвинений в адрес друга.

Практическое измерение исторического исследования здесь очевидно. Как известно, Уайт и Гинзбург довольно жестко полемизировали друг с другом: выпады против Уайта есть в «Судье и историке», а критическое упоминание Гинзбурга читатель может найти в публикуемом здесь фрагменте из книги Уайта. Я надеюсь, что мы к этой полемике еще вернемся в ходе разговора – она явно сложнее, чем противостояние «позити-

1 См.: Гинзбург К. *Судья и историк. Размышления на полях процесса Соффри*. М.: Новое литературное обозрение, 2021.

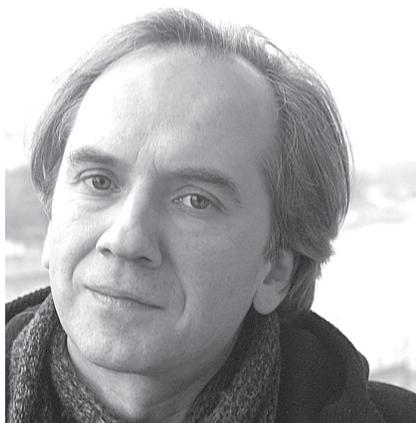
виста», старомодно ценящего факты (Гинзбург), и «постмодерниста», сводящего все к нарративам и релятивизирующего историческую истину (Уайт). Но, даже признавая расхождения в позициях этих двух историков (и теоретиков истории), важно увидеть общее для них обоих. И, по точному наблюдению Константина Митрошенкова – рецензента русского перевода «Судья и историка» и одного из переводчиков «Практического прошлого», – этим общим и будет «акцент на “практическом” измерении занятий историка, их связи с современностью»².

В связи с этим мой первый вопрос – о самом понятии «практического прошлого». Что именно для вас – практикующих(!) историков и теоретиков – означает «практиковать» историческое прошлое? Какие способы такой практики вообще существуют и какие риски (научные и/или политические) они предполагают? Андрей, я предлагаю вам начать – вы довольно давно занимаетесь этой уайтовской темой³ и, кроме того, редактировали перевод «Практического прошлого».

Андрей Олейников: Мне кажется, нам стоит сразу начать с различия, которое предлагает Уайт в той книге, чтобы мы могли разобраться, насколько оно нам понятно, согласны ли мы с ним в принципе или нет. Он разводит два вида прошлого: «историческое прошлое», существующее в текстах историка, которого никто никогда в реальности не переживал, поскольку это конструкт, создаваемый прежде всего с познавательными целями. Другой вид прошлого – это так называемое «практическое прошлое», с которым академические историки тоже имеют дело, но не в силу своих профессиональных обязанностей, а поскольку они живые люди. Этот вид прошлого не является их монополией, поскольку оно открыто любому человеку, так или иначе выстраивающему некоторую жизненную стратегию, планирующему какие-то важные решения на долгую перспективу. Это прошлое не обязательно индивидуальное, оно может быть также коллективным. Уайт заимствует это различие у Майкла Оукшотта, полагая, что оно может быть полезно для того, чтобы показать, что история не должна восприниматься исключительно как дело тех, кто изучает исторические документы. У прошлого есть также особое – а может быть, даже главное – предназначение, которое Цицерон называл «*magistra vitae*». Таким образом, вопрос для нас сегодня может стоять так: «Насколько мы согласны с этим различием Уайта?». Это различие возникло у него в связи с давним недовольством

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ,
ИСТОРИЧЕСКАЯ ИСТИНА
И СУД ИСТОРИИ



Андрей Андреевич Олейников (р. 1968) – философ, специалист по теории истории, преподаватель Московской высшей школы социальных и экономических наук, старший научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований Института общественных наук РАНХиГС.

² Митрошенков К. *Историк против фейковых новостей*. О книге Карло Гинзбурга «Судья и историк» (<https://gorky.media/reviews/istorik-protiv-fejkovyh-novostej/>).

³ См.: Олейников А. *Стоит ли «практиковать» прошлое?* // Новое литературное обозрение. 2017. № 1(143). С. 354–361.



профессиональной историографией. Он считал, что с теми вызовами, с которыми человечество сталкивается начиная со второй половины XIX века, не говоря уже о XX веке, лучше справляется не история, а те жанры, которые предлагают какую-то беллетризованную картину прошлого. Уайт был уверен, что модернистский и постмодернистский романы позволяют нам обходиться с этим практическим прошлым гораздо лучше, чем профессиональная историография. История именно как профессия, по его словам, вообще «не может достойно участвовать в дискуссиях по главным политическим, этическим, идеологическим проблемам, беспокоящим общество». Именно в силу того, что историки озабочены прежде всего достоверностью информации, которую они реконструируют из источника, озабочены фактами, они стараются принципиально не вмешиваться в публичную политику. По этим причинам Уайт отказывал современной историографии в серьезной общественной роли. Прав он был или нет? Другой повод для того, чтобы мы могли задуматься об общественной роли современной историографии, дает недавний перевод книги «Судья и историк» Карло Гинзбурга, который сделал Михаил Велижев. В ней тоже ставится вопрос об общественной роли историка. Это две разные задачи или же все-таки одна? Уайт считает, что это две разные задачи: реконструировать прошлое с опорой на источники и выполнять наставническую, жизнестроительную функцию. А у Гинзбурга это две разные задачи или все-таки одна? Вот этот вопрос я предложил бы обсудить.

«Практическое прошлое» открыто любому человеку, так или иначе выстраивающему некоторую жизненную стратегию, планирующему какие-то важные решения на долгую перспективу. Это прошлое не обязательно индивидуальное, оно может быть также коллективным.

И.К.: Прежде, чем дать слово Михаилу и Илье, я хотел бы немного уточнить вопрос. То, что предлагает Уайт, похоже на некоторую вариацию кантовского различения между частным и публичным применением разума. Частное применение, по Канту (хотя для нас это контринтуитивно – мы привыкли к другому пониманию частного/публичного), это применение разума на службе или на каком-то гражданском посту. Здесь высказывающийся рассматривается как некая часть общественного механизма. Офицер не может критиковать приказ,

священник – сомневаться в законе Божьем и так далее. Но если они выступают как *свободные ученые*, обращаясь ко *всей* читающей публике, то они могут критиковать и сомневаться – и эти критика и сомнения как раз и будут публичным применением разума. Уайт, как кажется, распространяет это различие на само сообщество ученых: есть те историки, кто высказывается в рамках профессиональной корпорации и в основном для квалифицированных членов корпорации; а есть те, кто обращается не к профессионалам – в рамках частного применения разума, – а ко всей читающей публике, которая не столько озабочена гносеологическими проблемами доказательств, сколько пытается опереться на прошлое именно в практическом смысле. Михаил, как вам кажется, насколько это различие оправдано?

Михаил Велижев: Что касается позиции Уайта, то она представляется мне, с одной стороны, не вполне правильной, но, с другой стороны, очень полезной для историков. Я считаю, что профессиональные историки, к которым я отношу и себя, должны держать в уме очерченную Уайтом дихотомию. Это один из самых главных и интригующих интеллектуальных вызовов, стоящих перед современной историографией. Разумеется, существует бесконечное количество специалистов, которые занимаются относительно узкими сюжетами и в профессиональном смысле делают это очень хорошо, так что сомнений в их научной состоятельности и идентичности не возникает. Однако при создании больших историографических нарративов историку следует (вернее, было бы здорово, если бы он так делал) порой обращаться не только к профессиональному сообществу, но и к тем читателям, которые проблемами этого сообщества не обременены. Например, книга Андрея Леонидовича Зорина «Появление героя» посвящена не только конкретной исторической коллизии – истории Андрея Тургенева, – но и тому, как вообще мы можем интерпретировать любовь и рассуждать о ней применительно к прошлому. Исторический материал нередко побуждает нас задавать ему вопросы, похожие на те, что мы сегодня считаем для себя значимыми. Ответы, которые давали люди прошлого, отличаются от наших, но постановка научного вопроса в книге Зорина такова, что по ее прочтении мы не можем не задуматься о том, в каких терминах мы сами говорим о любви. Такого рода историография мне лично чрезвычайно интересна. Важно подчеркнуть, что историку, когда он делает высказывание, имеющее значение для современного контекста, не обязательно напрямую говорить о современности, он может повествовать о своих сюжетах, но его высказывание способно звучать актуально.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ,
ИСТОРИЧЕСКАЯ ИСТИНА
И СУД ИСТОРИИ



Михаил Брониславович Велижев (р. 1980) – специалист по русской и европейской интеллектуальной истории Нового времени, профессор школы филологических наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».



Историк может использовать те преимущества, которые дает ему его профессия. Историографические труды представляют интерес для публики, и это отнюдь не исключает того, что современный читатель любит романы и свое чувство принадлежности к истории измеряет другими критериями. Одно другому не противоречит, в идеале разные нарративные перспективы сложным образом коррелируют между собой. Я бы стремился уйти от конфликтности, о которой пишет Уайт. История и историография последних десятилетий показывают, что компромиссы существуют, и книга Гинзбурга о процессе Софрии в определенном смысле как раз и есть пример плодотворного вторжения историка в современность.

И.К.: Конечно, когда речь идет о любви, вопросов – во всяком случае поначалу – вроде бы не возникает. Но как только мы начинаем касаться политики (ну, или тех аффектов, которые легче политизируются, – страха, например), то тут же профессиональный историк оказывается настороже: практиковать прошлое в этом смысле означает инструментализировать его, делать его оружием в текущей политической борьбе – а значит, ставить объективную истину на службу текущим интересам. Илья, как вам видится эта ситуация – насколько оправданы подобные опасения?

Илья Будрайтскис: Спасибо огромное за приглашение поучаствовать в дискуссии – тем более, что я испытываю симпатию к обеим фигурам, которые являются ее объектами. Между ними в самом деле можно найти точки соприкосновения вопреки ожесточенным полемическим выпадам друг против друга. Я, к сожалению, еще не полностью прочитал книжку Уайта про практическое прошлое, но даже из внимательного чтения его главного труда «Метаистория» следует, что проблема для него выглядит глубже, чем противопоставление практической истории (которая стремится делать выводы) и нейтральной позитивистской истории (которая выводов не делает). Уайт пытается выявить в любой структуре исторического повествования некое скрытое, остаточное моральное высказывание, которое так или иначе зашито в саму природу исторического нарратива. Поэтому условно нейтральная позиция историка на самом деле тоже является неким скрытым моральным суждением. Однако остается вопрос, что же это за суждение и в столкновении с какими другими суждениями оно участвует? В «Метаистории» Уайт, как известно, выявляет несколько нарративных моделей, одна из которых определяется им как ироническая – он ее атрибутирует Буркхардту и Шопенгауэру, – но ее можно распространить на большую часть професси-



Илья Борисович Будрайтскис (р. 1981) – политический теоретик, преподаватель Московской высшей школы социальных и экономических наук.

онального исторического сообщества. Ведь любой нейтральный историк-позитивист, который работает с конкретным материалом, все равно выходит даже в своих специфических научных работах на уровень общего здравого смысла: «Да, я написал книгу об Иване Грозном или Мао Цзэдуне – но зачем я вообще всем этим занимаюсь?». И далее, как правило, следует синтезирующее суждение, которое так или иначе соответствует такой иронической модели истории: история ничему не учит, и нужно наслаждаться лишь игрой парадоксов.

КРУГЛЫЙ СТОЛ
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ,
ИСТОРИЧЕСКАЯ ИСТИНА
И СУД ИСТОРИИ

Уайт пытается выявить в любой структуре исторического повествования некое скрытое, остаточное моральное высказывание, которое так или иначе зашито в саму природу исторического нарратива. Поэтому нейтральная позиция историка тоже является неким скрытым моральным суждением.

В своем анализе Уайт стремится выявить скрытое моральное содержание практически любого исторического повествования. Ироническая позиция в данном случае служит уклонением от праксиса в кантианском смысле – как решения, поступка, мотивированного тем содержанием, которое следует из этого исторического повествования. Если исходя из него следует признать невозможность поступка и абсолютную власть фортуны, то, собственно, никакого практического смысла эта история не имеет. Эта печальная истина сама по себе, безусловно, является обобщающим высказыванием о смысле истории. И попытка оспорить такого рода высказывание сближает перспективы Уайта и Гинзбурга. Ведь с точки зрения Гинзбурга кто является настоящим судьей, выносящим суждение? Тот, кто не готов согласиться с объективной ценностно нейтральной рамкой, которая набрасывается на любые конкретные события. Судья, как и историк, с позиции факта сопротивляется сеткам интерпретации, которые пытаются представить себя как единственно возможную данность. Поэтому, конечно, критика Гинзбурга – это не критика с точки зрения позитивиста, который критикует постмодерниста, говорящего о том, что все это не более чем нарратив. Это критика идеологии, которая пытается обнаружить в каждом конкретном факте негативность, трещину в той картине реальности, которая представляется властью. Гинзбург очень четко говорит о том, что знание об объективной реальности – это всегда фигура власти. А подлинный историк всегда пытается с позиции факта бросить этому вызов и сделать прак-



тическое суждение, которое приносит новое обстоятельство в «объективную» взаимосвязь обстоятельств.

И.К.: Илья любопытно развернул эту проблему: мы имеем дело не с позитивизмом, а с критической попыткой расколоть навязанную буржуазную картину мира, обнаружить факт как негативность. Но все-таки – с каких позиций ведется эта критика? Можно ли определить ее только как зеркально противоположную той идеологической полноте, которую навязывает власть? То есть определить ее как своего рода чистую негативность, как не-идеологию?

М.В.: Прежде всего нужно сделать одно замечание по поводу культа факта. Гинзбург пишет в начале книги, что для него как для историка доказательство и истина не являются пустым звуком – как раз в связи с его инвективами в адрес Уайта. Однако при всем том между судьей и историком имеется четкое различие, которое является для Гинзбурга как автора «Судьи и историка» принципиальным. Прошлое недоступно непосредственному наблюдению. Историк занимается формулированием гипотез о прошлом, их фальсификацией и верификацией. Он исследует то, что Гинзбург называет контекстом как «пространством исторически обусловленных возможностей». Когда мы говорим о факте, то нужно понимать, что Гинзбург выступает не за власть факта, а за власть ответственных гипотез. В другой книге – «Загадка Пьеро» – он исповедует прекрасный принцип: историку следует выдвигать смелые гипотезы, а смелость гипотезы компенсируется строгостью ее проверки.

Когда судья выносит приговор, он не имеет права основываться на гипотезах и догадках. Он решает человеческие судьбы от имени государства, обладающего легитимным правом на насилие. Поэтому логика судьи совершенно другая: историк может написать – «вероятно» или «возможно», дело обстояло определенным образом по определенным причинам, судья так делать не должен. Напомню замечательный пример из «Судьи и историка»: если прямых доказательств преступления нет, но есть свидетельства, которые касаются других преступлений тех же самых людей, то есть косвенные свидетельства автоматически становятся релевантными для всех предполагаемых преступлений, что мотивируется необходимостью борьбы с терроризмом и мафией. Гинзбург считает эту логику порочной.

И.К.: А в каком тогда жанре написана книга «Судья и историк»? Ведь это не просто историческое исследование – это вмешательство в реальную ситуацию.

М.В.: Да, именно так. Гинзбург прямо говорит о своей цели: книга пишется в определенный исторический момент – между решениями двух судебных инстанций. Он публикует текст, чтобы убедить, с одной стороны, общественное мнение и, с другой стороны, судей в том, что Софри не виновен. Вопрос не в том, виновен или не виновен Софри (хотя Гинзбург уверен в его невиновности), а в том, что обвинению не удалось доказать вину Софри – и это с моральной точки зрения чудовищно. Исторический бэкграунд помогает Гинзбургу обнаружить проблему, существующую в современном итальянском законодательстве. С позиции историка он совершает общественно важный политический жест. Гинзбург делает за судей их работу. При этом он не становится судьей. Судья – это тот человек, которого государство наделило полномочиями решать судьбы людей. Гинзбург не имеет таких полномочий, поэтому его высказывание и решение судьи обладают принципиально разной валентностью. Судьи должны подчиняться определенному кодексу – и это важнейший моральный смысл книги. Как историк Гинзбург опирается на античную традицию, где история и право близки друг к другу.

И.К.: Я все-таки повторяю вопрос: а как именно историографическая процедура должна сочетаться с политической ангажированностью?

А.О.: В одной из бесед Илья сказал, что Гинзбург – вслед за Беньямином – предлагает как бы «чесать историю против шерсти». То есть он разрушает ту историю, которую слепило следствие, и показывает, что она не имеет под собой никаких серьезных оснований. Вся она выстроена на домыслах, на эквивоках. Работа, которую совершает Гинзбург, действительно «практическая» в терминологии Уайта. Один из основных тезисов Гинзбурга заключается в том, что историк и судья нуждаются в доказательстве. Но у того практического жеста, который делает Гинзбург, ясной политической цели я не вижу. Человек, который пострадал от бездоказательного судебного решения – Адриано Софри, – его близкий друг. Гинзбург отдает ему долг дружбы, старается восстановить подлинную картину произошедшего, но за этим нет, как мне кажется, никакой политики в смысле Беньямина. Гинзбург пишет историю – но у нее непонятный статус на самом деле. С одной стороны, она отвечает академическим критериям и может быть опубликована в научном журнале, но, с другой стороны, у нее есть практическая задача: он хотел, чтобы судьи прочитали этот текст и задумались о том, насколько они были неправы, когда выносили обвинительный приговор Софри. Сошлюсь на мнение Перри Андерсона, который считает,



что в этой работе Гинзбург поступает в действительности не так, как следовало бы поступать условно «нормальному» историку, потому что такой историк написал бы работу об этом процессе не с целью повлиять на решение суда, а просто описать, как так случилось, что возникло это дело против «Lotta Continua», кто в нем был заинтересован и так далее, постарался бы с разных сторон осветить, как ведут себя состязающиеся стороны и тому подобное. Но он такого сочинения не пишет. Получается, что эта книга одновременно отстывает от канона беспристрастной историографии *sine ira et studio*, но не дотягивает до политического манифеста в стиле Бенямина. Мне такая позиция представляется какой-то промежуточной, она не вполне мне понятна.

М.В.: Очень коротко по поводу неартикулированной политической позиции Гинзбурга. Он считает, что беспристрастность историка – это преимущество его подхода. Тот факт, что он защищает друга, задает дополнительное ограничение: ему следует особенно быть беспристрастным. Он не должен высказывать своих политических симпатий, и это усиливает его позицию. Приведу пример. Сейчас ректор Шанинки Сергей Эдуардович Зуев находится в тюрьме. Представим, что мы четвером беремся написать текст, посвященный доказательству его невиновности. Наши политические взгляды не совпадают, но в тот момент, когда мы пишем наш труд, эти разногласия могут стираться. У нас есть конкретная задача: показать, что решение суда с правовой точки зрения не мотивировано или, наоборот, политически обусловлено, там нет состава преступления, а есть чисто политическая задача. Будет ли наше высказывание политическим? На мой взгляд, безусловно. При всем том в процессе работы над текстом, аналог которого мы видим в книге Гинзбурга, мы будем стараться не принимать в расчет наши политические разногласия – мы будем критиковать государство за определенный набор неправомερных действий. И Гинзбурга можно проанализировать таким же образом: он показывает нам фундаментальную уязвимость политического порядка, который в 1990 году существует в Италии. Андрей, Илья, Игорь, согласны со мной? Или мой пример – натяжка?

И.Б.: Это очень важное перенесение на современную ситуацию, которую предложил Михаил. Но Гинзбург говорит, что суд над Соффи напоминает ему как историку суды средневековой инквизиции. В чем особенности судов инквизиции, с материалами которых работал Гинзбург или другие классики микроистории (например Ле Руа Ладюри)? Это суды, основанные на целостной картине мира, исходя из которой результат следствия был предопределен. Это был крайне идеологизированный

суд, в сам механизм которого было заложено финальное решение. Взаимодействие с судом инквизиции с точки зрения силы аргументов, которые повлияли бы на его позицию, было бы крайне наивно и некорректно. В своем анализе процесса Софьи Гинзбург реконструирует картину мира судей, определяющую тот тип связи, которое следствие додумывает, чтобы эту картину подтвердить. Это тот самый принцип логического доказательства, который находится в центре критики Гинзбурга.

КРУГЛЫЙ СТОЛ
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ,
ИСТОРИЧЕСКАЯ ИСТИНА
И СУД ИСТОРИИ

М.В.: Он говорит о заговоре карабинеров.

И.Б.: Да, Гинзбург вполне ясно воспроизводит мотив суда, определяемый историческим контекстом: массовое левое молодежное движение конца 1960-х, его столкновения с государством, и отложенная на двадцать лет месть этого совокупного государства, где суд, полиция и следствие неразделимы. Конечно, рассматривать позицию Гинзбурга лишь как сумму фактов, которые гипотетически могут повлиять на мнение суда, мне кажется недостаточным. У Гинзбурга есть определенная политическая позиция, которая направлена против самого института власти, *каждое суждение которого предопределяется общей картиной реальности*. Задача историка, работающего с конкретными фактами, выглядит в этом смысле абсолютно политической, потому что историк делает акцент на том, что выпадает из этой общей картины реальности. В этом смысле микроисторики делают нечто сходное с работой модернистского искусства, в котором деталь всегда восстает против целого. Так что оставаться на стороне факта и критиковать «логическое доказательство» – это вполне ясная политическая и моральная позиция, направленная против государства и институтов власти.

Задача историка, работающего с конкретными фактами, выглядит в абсолютно политической, потому что историк делает акцент на том, что выпадает из этой общей картины реальности.

М.В.: Очень интересное рассуждение Ильи о Гинзбурге как о критике власти, но мне кажется, что все-таки речь идет о свержинтерпретации. Я не вполне согласен с оценкой контекста. Я думаю, Гинзбург имел в виду конкретный тип конфигурации власти – сращение институтов юстиции: не должны карабинеры и суд действовать сообща, им следует существовать отдельно и действовать по прозрачным правилам. Если этого не происходит, то это плохо.



И.К.: К Илье вопрос. Я отошлю к рецензии на английский перевод «Судьи и историка», которую написал – уже довольно давно – Кирилл Кобрин⁴. Он там критикует Гинзбурга, сравнивая его с Фуко. Согласно Кобрину, Гинзбург, даже критикуя, продолжает играть по правилам этого самого буржуазного суда. В отличие от Фуко, который как раз в споре с маоистами призывал поставить под вопрос сами судебные практики, Гинзбург не проделал этой археологической работы. Но мой вопрос шире: можем ли мы сегодня говорить о логике самой истории, можем ли мы сказать, что сама история «высказывается» в своем диалектическом движении и историку нужно лишь уловить и в конечном счете совпасть с ритмом этого диалектического движения? И тогда вопрос об укорененности критической позиции будет снят – вместо кантианского произвола мы получаем гегельянское совпадение с самой «сутью дела»?

И.Б.: Спасибо за этот вопрос. Когда я готовился к нашему разговору и пересматривал свои конспекты Уайта, я поразился, насколько его позиция близка гегелевской философии истории. И Гинзбург в начале книги тоже обращается к Гегелю, отмечая, что именно он вводит позицию судящей истории. Но, как мне кажется, важно отметить, что для Гегеля судит именно история, а не сами историки. Историк всегда находится в конкретном моменте времени, и его суждение определяется именно этим. Позитивистская, «объективная» история пытается исключить историка из его собственного времени. Она деисторизирует исследователя, выносящего нейтральные суждения, которые как бы истории не принадлежат. Позиция Гегеля состоит в том, что он рефлектирует принадлежность к определенному историческому моменту. Позиция Уайта в этом смысле очень близка гегелевской.

И.К.: Но позиция историка-гегельянца, конечно, довольно парадоксальна: если он еще в истории, то, сколько бы он ни рефлектировал, принадлежность к конкретному моменту, подлинный смысл этого момента будет от него ускользать. Понять истинное значение какого-либо периода можно лишь после того, как история – в качестве истории разума – закончится. Настоящая историография начинается после конца истории.

И.Б.: Да, но это не мешает историку-гегельянцу стоять на почве действительности. Действительность – как учит Гегель – является одновременно и ложной и истинной. Ложной, поскольку она ограничена представлениями своего времени, а истинной –

⁴ Кобрин К. *Историк и анархисты* (https://ruthenia.ru/logos/personalia/kobrin/2/8_historian.htm).

поскольку здесь фиксируется конкретный момент становления истины. Гегель начинает свою философию истории с классификации разных видов историй: поэтической, которая оживляет события, и критической, которая отсекает все лишнее, чтобы выявить основные тенденции. Дальше Гегель анализирует античных историков именно с точки зрения их принадлежности к одному из двух типов исторического нарратива и их соответствия тому моменту, когда они действовали как историки. Можно по-разному трактовать философию Гегеля – вот Альтюссер считал, что гегельянская политика в принципе невозможна. Но есть и другая точка зрения: Карл Левит полагал, что разделение на левых и правых гегельянцев – это разделение на политику и историю. Поскольку философия после Гегеля закончилась, то можно либо политизироваться, либо историзироваться. Либо философию можно реализовать на практике, либо реализовать ее как метод изучения прошлого.

И.К.: Михаил, у меня к вам вопрос как к практикующему историку: конечно, сегодня, когда любой эссенциализм взят на подозрение, все эти марксистские отсылки к «сути дела» или «логике дела» (под этим, как правило, подразумевалась объективная диалектика реальной истории) выглядят еще наивнее «позитивистской» веры в факты, но не слишком ли мы сами наивны в своей критике чужих наивностей? Все-таки, признавая все опасности эссенциализма, можно ли сегодня говорить о суде истории?

М.В.: Все-таки важно понимать: Гинзбург говорит, что историк не должен быть судьей. Он не должен судить, не должен оценивать. У меня недавно был спор с историком Никитой Петровым на одной из конференций в «Мемориале». Я делал небольшой доклад как раз про книгу «Судья и историк», где, в частности, утверждал, что Гинзбург призывает избегать оценок. И Петров сказал мне: «Откуда вообще взялась эта глупость, что история не должна оценивать? Важнейшей задачей истории является именно оценка!» Нужно отметить, что для историков существенна разница между объектами исследования: если историк занимается второй половиной XX века, то практически любое – даже нейтральное – высказывание становится политическим. Оно политизируется, поскольку немедленно попадает в поле современных дебатов об исторической памяти, исторической политике и так далее. Историки, которые пишут о более ранних временах, порой избавлены от подобных параллелей, хотя и здесь есть исключения. Существуют знающие специалисты, которые пишут, например, о николаевской эпохе (имеется в виду Николай I) как об идеальном периоде



русской истории: Уваров поднял русское образование на невероятную высоту, а Николай являл собой идеал правителя. Понятно, что прямых соответствий здесь не обнаружить: Российская империя и современная Россия – это два совершенно разных государства, однако параллели регулярно проводятся и являются оценочными.

Историк не должен быть судьей, но когда он высказывается о современности, то способен использовать свой опыт, накопленный внутри дисциплины, для того, чтобы ставить перед читателями целый ряд актуальных в разные эпохи вопросов.

Я хотел бы вновь вернуться к одному из высказанных мной тезисов. Гинзбург-историк существует в иной парадигме, чем та, которую мы обсуждаем. Это парадигма выдвижения и тестирования гипотез. Наука предоставляет в наше распоряжение инструмент, позволяющий отделить валидные гипотезы от ложных или менее валидных с помощью критики источников и практики классического историко-филологического комментария. Историческая наука за пятьсот лет накопила достаточное количество знаний на сей счет. И я считаю, что внесение подобной ясности в историческую науку – это очень правильная вещь. Я бы не согласился с Уайтом: с его точки зрения, любые аргументы валидны. Нарративы равны друг другу, и неважно, какая доказательная база под них подведена. Между тем для Гинзбурга именно это и является важнейшим элементом профессионального поиска. Я как практикующий историк, занимающийся историей русской общественной мысли XIX века, считаю, что работы Гинзбурга актуальны и в каком-то смысле даже новы для нас. Большая часть трудов, которые я вынужден читать, состоят в пересказе источников и в упоминании всем известных фактов. Нацеленность на неизвестное, на постановку научной проблемы, на верификацию гипотез в этих сочинениях зачастую полностью отсутствуют. Давайте спросим себя: есть ли у науки моральные основания и является ли историк судьей? Едва ли. Историк не должен быть судьей (он существует внутри своих профессиональных границ, о валидности которых мы можем спорить), но когда он высказывается о современности, то способен использовать свой опыт, накопленный внутри дисциплины, для того, чтобы ставить перед читателями целый ряд актуальных в разные эпохи вопросов – о природе государства и власти, например.

А.О.: Чрезвычайно интересно было бы определить позицию Гинзбурга в широком плане, учитывая уже сказанное. Я допускаю, что мы имеем дело с политической позицией, которую не так просто определить. Мне кажется все же, что она иного свойства, чем позиция Бенямина: представляется, что мы имеем дело с такой по-хорошему воинственной позицией профессионального историка, который уверен, что установление фактов – это дело не только внутриакадемическое. И поэтому он, собственно, и занимается делом Соффи. И поэтому он нападает на Уайта – он действительно нападает на него: с его подачи в 1990-м возникла серьезная полемика на конференции в Лос-Анджелесе, организованной Солом Фридлендером (по итогам которой вышел сборник «*Probing the Limits of Representation*»). Причем Уайт к этой полемике не был готов, а Гинзбург хорошо подготовился, проштудировал его труды, поднял бэкграунд, показал, что он увлекался Кроче – Уайт действительно же был италянистом, занимался историей папства, – и утверждал, что Уайт реанимирует определенные стороны философии истории Джованни Джентиле. Гинзбург был убежден, что релятивизм Уайта неуместен в случае таких масштабных трагедий, как Холокост. А Уайт думал ровно наоборот: в случае с катастрофами такого масштаба нет смысла устанавливать какие-то отдельные факты – это уже бессмысленно, это избыточное занятие. Когда ты сталкиваешься с отрицанием Холокоста, невозможно доказать, что твой оппонент ошибается. Уайт решительно покидает пространство корреспондентной истины, которое остается святым для Гинзбурга. Но в книге «Судья и историк» есть одно место, где позиция Гинзбурга становится неотличимой от позиции Уайта, – это страница 112. Здесь Гинзбург вспоминает об «Орландо» Вирджинии Вулф. Вспоминает в связи с вымышленной, хотя и созданной на документальной основе, биографией «Жака Простака», которую написал в 1820 году Огюстен Тьерри. То, что говорит об «Орландо» Гинзбург, вполне, как мне кажется, мог бы сказать и сам Уайт:

«“Орландо” [...] можно считать экспериментом в сходном, хотя и не в прямо аналогичном направлении, учитывая, что здесь вымысел превалирует над историографической реконструкцией. Главный герой романа, чудесным образом преодолевающий столетия, – это андрогин, самое маргинальное существо, какое только можно себе представить. Это обстоятельство подтверждает, что повествовательный прием, о котором я пишу, решает не чисто техническую задачу: это сознательная попытка предположить, что скрытые исторические процессы существуют в том числе и потому, [...] что их трудно обнаружить на страницах документов»⁵.

5 Гинзбург К. *Указ. соч.* С. 112.



Иначе говоря, здесь Гинзбург оправдывает вымысел так же, как это делает в своих текстах Уайт. Но думаю, что это вообще малохарактерный для Гинзбурга эпизод – он все-таки предпочитает иметь дело не с вымыслом, а с «уликами».

В общем, мне кажется, что не стоит представлять Гинзбурга в качестве историка-активиста, хотя ему присущ определенный воинственный академизм. Если вспомнить метафору *Weltgeschichte als Weltgericht*, то, согласно Гинзбургу, этот суд допускает возможность обмена аргументами. Это суд, где сохраняется возможность предъявлять доказательства и, может быть, даже оспаривать вердикт Господа Бога.

М.В.: У меня короткий комментарий. В статье «Микроистория: две-три вещи, которые я о ней знаю» Гинзбург говорит о Толстом: когда у Толстого нет конкретного документа, он компенсирует его отсутствие с помощью повествовательных техник. Историк не может так поступать. В «Судье и историке» Гинзбург утверждает, что историку следует выдвигать гипотезы, все время оговаривая, что это лишь «возможно», «предположительно» и так далее.

И.Б.: Я хотел бы коснуться метода Гинзбурга. Из его знаменитой книги «Сыр и черви» хорошо видно, насколько Гинзбург далек от «истории понятий» – для него ключевым является самозарождение некоего сознания, которое не было предопределено никакой интеллектуальной рамкой. Гинзбург подчеркивает, что диссидентство мельника Меноккио не было частью какого-то большого дискурса – например, европейской Реформации. В принципе, у Гинзбурга объяснение феномена Меноккио вполне грамшианское и соответствует идее Грамши об органической интеллигенции.

Еще я хотел бы вернуться к примеру с Толстым. Претензии Толстого к истории были примерно такими же, как и его претензии к литературе. Литература, которая не имеет практического – в почти кантианском смысле, к которому апеллирует Уайт, – значения, литература, которая просто демонстрирует нам игру страстей, является не просто бессмысленной. С точки зрения Толстого, такая литература, лишенная практического значения, является именно ложной, в ее основе лежит ложное послание. Так же и история, в которой могут постоянно меняться акценты, но нет никакой практической ориентации, тоже представляет собой ложную целостность. И, если вернуться к обсуждаемой книге Гинзбурга, он очень коротко говорит о Школе «Анналов», которая совершила переход от судящей истории к истории понимающей. И это действительно так. Можно вспомнить «Апологию истории» Блока, где это

основной мотив – что судить нельзя. Но Гинзбурга такая позиция не устраивает, поскольку метод, который предлагала Школа «Анналов», – это метод суждения о частях исходя из целого, а этим целым представлялась гомогенная историческая эпоха. Историк, с этой позиции, должен анализировать структуры сознания каждой отдельной эпохи. Идея Гинзбурга, напротив, в том, что необходимо искать улики, которые заставляют сомневаться в самой структуре. Историк ищет улики, которые выявляют неполноту исторической картины.

И.К.: Спасибо, Илья. И спасибо всем вам за участие в разговоре – его тема далеко не исчерпана, и я надеюсь, что мы к ней еще неоднократно вернемся.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ,
ИСТОРИЧЕСКАЯ ИСТИНА
И СУД ИСТОРИИ

